

Бахыт КЕНЖЕЕВ

Сочинитель звезд

«Пушкинский фонд» • МСМХСVII
Санкт-Петербург



Расскажи, возмечтавший о славе
и о праве на гостя бытия,
как водою двоящейся яви
умивается вале твое,

как с голгофою под головою,
с герман волком на длинном ремне
человечество спит молодое
и мурлычет, и плачет в сне —

а над ним, словно жезл фараона,
словно дивное веретено,
полыхают огни Орисна,
и свободно, и зло, и темно —

и расшит поэтическим вздором
вещный купол — и в клеице затат
там, где сокол, стержневик и ворон
над кастальскою степью кружат.

ГМенз

Бахыт КЕНЖЕЕВ

Сочинитель звезд

книга новых стихотворений

**«Пушкинский фонд» • МСМХСVII
Санкт-Петербург**

**ББК 84. Р7
К33**

Марка издательства работы
Сергея Семенова

ISBN 5—85767—091—8

© Б. Кенжеев, 1997



Расскажи, возмечтавший о славе
и о праве на часть бытия,
как водою двоящейся яви
умывается воля твоя,

как с голгофою под головою,
с черным волком на длинном ремне
человечество спит молодое
и мурлычет, и плачет во сне —

а над ним, словно жезл фараона,
словно дивное веретено
полыхают огни Ориона,
и свободно, и зло, и темно,

и расшит поэтическим вздором
вещий купол — и в клещи зажат,
там, где сокол, стервятник и ворон
над кастальскою степью кружат...



Не понимаю, в чем моя вина.

Сбылась мечта: теперь я стал писатель,
в журналах, пусть порядком отощавших,
печатаюсь и даже иногда
свои портреты с мудрым выраженьем
лица — в газетах вижу. И другая
убогая мечта эпохи большевизма,
сбылась — теперь я странствовать могу
по белу свету, где-нибудь в Стамбуле,
где спины лицемеров половых
изогнуты и девы из Ростова
зажиточным челночникам толкают
сомнительные прелести, взирать
с усмешкою бывалого туриста
на Мраморное море, на проливы,
мечту славянофилов, запивая
все это удовольствие араком —
анисовую водкой, что мутнеет,
когда в нее воды добавишь, — будто
душа поэта в столкновенье с жизнью.
А захочу — могу в Москву приехать,
увидеться с друзьями, и сестрою,
и матерью. Расцвет демократизма
на родине, а мы-то, друг Серега,
не чаяли. Нас всех произвели
не в маршалы, так в обер-лейтенанты от изящной
словесности потешного полка
при армии товарищей, ведущей
отечество к иным редутам. Словно
усердный школьник, дабы не отстать
от времени, я заношу в тетрадку
слова: риэлтер, лобстер, киллер, саммит,
винчестер, постер. Жалкие ларьки
сменились бутиками, букинисты
достанут все, и цены смехотворны.
Короче — рай. Ну, правда, убивают,

зато не за стихи теперь — за деньги,
причем большие. Ну еще — воруют,
такого воровства, скажу тебе,
наверно, нет нигде, ну разве
в Нигерии какой-нибудь. Ну, нищета,
зато свобода. Был бы жив Сопровский —
вот радовался бы. Такой припев
всех наших разговоров за четыре
последних года. Впрочем, сомневаюсь.
Позволь трюизм: вернувшийся с войны
или из лагеря ликует поначалу,
но вскоре наступает отрезвление:
кто спорит, на свободе много слаще,
но даже в лучшем случае, дружок,
сам знаешь, чем прелестный сон земной
кончается.

Распалась связь времен.
Как много лет назад другой поэт —
лысеющий, с торчащими ушами,
в своем хрестоматийном пиджачке
эпохи чесучи, эпохи Осо-
авиахима, сумрачно бродил
по улицам и клялся, что умрет,
но не прославит, а его никто
не слышал и не слушал...



Хорошо в перелетной печали
жизнь, полученную задарма,
проживать — погоди за плечами,
восковая старуха-зима.
А закат над Москвою заплакан,
и в развалинах СССР
рэкетир, комсомолец и дьякон,
под прощальную музыку сфер
накричавшись вселенной «сдавайся»,
на дорогу выходят втроем
и уносятся в медленном вальсе
через ночь, сквозь оконный проем...
Что еще мне сегодня приснится?
То «алло!» прокричат, то «allez!».
Спица-обод, свобода-темница,
мало счастья на Божьей земле.
Сколь наивен ты был со своими
неприятностями, шер ами!
Вот и рифмы нахлынули: имя,
время, племя. Попробуй уйми,
укроти их, мыслитель неловкий,
уважающий ямб и хорей,
что когда-то мечтал по дешевке
откупиться от доли своей..



Алкогольная светлая наледь, снег с дождем, и отечество, где
нет особого смысла сигналить о звезде, шелестящей в беде.
Спит сова, одинокая птица. Слышишь, голову к небу задрал,
как на крыше твоей копошится утешитель, шутник,
костоправ?

Что он нес, где витийствовал спьяну, диктовал ли какую
строку
Михаилу, Сергею, Иоганну, а теперь и тебе, дураку, —
испарится, истлеет мгновенно, в серный дым обратится
с утра —
полночь, зеркало, вскрытая вена, речь — ручья молодая
сестра...

Нет, не доктор — мошенник известный. Но и сам ты не лев,
а медведь.
Подсыхать твоей подписи честной, под оплывшей луной
багроветь.
Не страшись его снадобий грубых, будь спокоен, умен
и убог.
Даже этот губительный кубок, будто небо Господне, глубок.



Когда пронзительный и пестрый
горит октябрь в оконной раме
бокастым яблоком с погоста,
простудой, слякотью, кострами —
еще потрескивает хворост,
страница влажная дымится,
но зрос сдерживает голос
и сердцу горестное снится.
А где-то царствует иная
страсть — только я ее не знаю,
заорожен своей страной,
то ледяной, то лубяною.

Шуршит песок, трепещет ива,
ветшает брошенное слово
на кромке шаткого залива,
замерзшего, полуживого,
где ветер, полон солью пресной,
пронзает прелестью воскресной,
где тело бедствует немое,
и не мое, и не чужое, —
лишь в космосе многооконном
бессмертный смерд и князь рогатый
торгуют грозным, незаконным
восторгом жизни небогатой...



Почернели — в гвоздях и огнях — привокзальные своды...
Как давно этот мир не делили на воздух и воду.
С горсткой каменной соли, сжимая ржаную краюху,
выйду ночью к реке, напрягу осторожное ухо —
вдалеке от Валгаллы, вдали от покинутой Волги
вместо музыки вещей — лишь скрип граммофонной иголки.

Всходит месяц огромный, терновая блещет корона,
все сбывается, что наболтала сорока-ворона,
белобокая дрянь, балаболка, — не пашет, не вяжет,
криком голову вскружит, пророчества толком не скажет,
только крыльями узкими бьет, в неурочную пору
унося перстенок за ворота, за синюю гору.

А под нею земля, там горящее ценится в рубль,
а потухшее — в грош, там стремительно сходит на убыль
уголь пылающий, и на себе разрывает ошейник
пес — не тех путешествий хотел он, не тех утешений, —
и на лысом оглохшем лугу ради темной потехи
орнитологи-лешие щелкают щучьи орехи.

Нет, пока не сожмет тебе горла рука птицелова,
шелести — заклинаю! — по чистым полянам, гортанное
слово,

смейся, плачь, сторожи меня, глупого, около
облаков белобоких. Ни Моцарта в небе, ни сокола.
Но какая-то чудная нота, воскреснув свиной ночью,
невыпадет утешает озябшую душу сорочью.



Вещи осени: тыква и брюква.
Земляные плоды октября.
Так топорщится каждая буква,
так, признаться, намаялся я.
Вещи осени: брюква и тыква,
горло, обморок, изморось, медь,
все, что только сегодня возникло,
а назавтра спешит умереть,
все, которые только возникли,
и вздохнули, и мигом притихли,
лишь молитву твердят невпопад —
там, в заоблачной тьме, не для них ли
многотрудные астры горят?

Я спросил, и они отвечали.
Уходя, не меняйся в лице.
Побелеет железо вначале
и окалиной станет в конце.
Допивай свою легкую водку
на крутой родниковой воде,
от рождения отдан на откуп
нехмелеющей осени, где
мир, хворающий ясною язвой,
выбегающий наперерез
ветру времени, вечности праздной,
снисхождению влажных небес...



Прислушайся — немотствуют в могиле
сиреневых предместий бедный житель,
и разрыватель львиных сухожилий,
и раб, и олимпийский победитель —
а ты, оставшийся, снуешь, подобно
живцу, запутавшись в незримой леске, —
как небеса огромны и подробны,
как пахнут гарью сборы и поездки!
То пассажир плацкартных, то купейных,
шалфей к твоей одежде и репейник
цепляются. Попутчик-алкоголик
храпит во сне. И хлеб дорожный горек.

Дар Божий, путешествия! Недаром,
вонзая нож двойной в леса и горы,
мы, как эфиром, паровозным паром
дышали и вокзалы, как соборы,
выстраивали, чтобы из вагонов
вступать под чудо-своды, люстры, фрески.
Сей мир, где с гаечным ключом Платонов
и со звездой-полынью Достоевский, —
не нам судить, о чем с тоской любовной
стучат колеса в песне уголовной,
зачем поэт сводил по доброй воле
шатун и поршень, коршуна и поле.

Какой еще беды, какой любви мы
под старость ищем, будто забывая,
что жизнь, как дальний путь, непоправима
и глубока, как рана ножевая?
Двоясь, лепечет муза грешных странствий,
о том, что снег — как кобальт на фаянсе,
в руке — обол, а на сугробе — соболю,
и нет в любви прибыли особой.
Стремись к иным — степным и зимним — музам,
но торопись — в дороге час не ровен,
и оси изгибаются под грузом
железных руд и корабельных бревен.



Среди длинных рек, среди пыльных книг человек-песок
но язык его вспоминает сдвиг, подвиг, выцветший
ко всему привык
черновик,
поздний запах моря, родной порог, известняк, что не
сохранил
отпечатков окаменевших строк, старомодных рыжих
чернил.

Где, в какой элладе, где смерти нет, обрывает ландыш его
и глядит младенцем на дальний свет из прохладного
душа
шалаша?
Выползает зверь из вечерних нор, пастушонок молча плетет
и ведут созвездия первый спор — кто волчонок, а кто щенок.
венки,

И пока над крышей визжит норд-ост, человечьи очи глотают
тьму,
в неурочный час сочинитель звезд робко бодрствует, потому
что влачит его океан, влечет, обольщает, звенит, течет —
и живой земли голубой волчок колыбельную песнь поет.



Сколько нажито, сколько уступлено яме земляной,
без награды, за так,
пролетают снежинки ночными роями, с хлебом-солью
в лучистых руках,
и не в плоский аид, не в предверие рая — на оливковый,
глинистый крит
попадешь ты, где небо от края до края электрической медью
искрит,
просторечную ночь в сапожищах армейских коротать
и сцепления дней
разнимать в лабиринте корней арамейских, половецких,
латинских корней,
отраженных в кривом зазеркалье, под кровом олимпийского
гнева, трубя
в безвоздушную бронзу — чтоб быкоголовый замирал,
вдруг услышав тебя.

ВЕЩИ

Бахытжану Канапьянову

Нет толку в философии. Насколько прекрасней, заварив покрепче чаю с вареньем абрикосовым, перебирать сокровища свои: коллекцию драконов из Самарканда, глиняных, с отбитыми хвостами и лапами, прилепленными славным конторским клеем. Коли надоест — есть львов игрушечных коллекция. Один, из серого металла, особенно забавен — голова сердитая, с растрепанною гривой, — когда-то украшала рукоять старинного меча и кем-то остроумно была использована в качестве модели для ручки штопора, которым я, увы, не пользуюсь, поскольку получил подарок этот как бы в знак разлуки.

Как не любить предметов, обступивших меня за четверть века тесным кругом, — когда бы не они, я столько б позабыл. Вот подстаканник потемневший, напоминающий о старых поездах, о ложечке, звенящей в тонком стакане, где-нибудь на перегоне между Саратовом и Оренбургом, вот портсигар посеребренный, с Кремлем советским, выбитым на крышке, и трогательной бельевой резинкой внутри. В нем горстка мелочи — пятиалтынные, двугривенные, пятаки и двушки, двушки, ныне потерявшие свой дивный и волшебный смысл: ночь в феврале, промерзший автомат, чуть слышный голос в телефонной трубке

на том конце Москвы, и сердце
колотится не от избытка алкоголя или кофе,
а от избытка счастья.

А вот иконка медная, потертая настолько,
что Николай-угодник на ней почти неразличим.
Зайди в любую лавку древностей —
десятки там таких лежат, утехой для туристов,
но в те глухие годы эта, дар любви,
была изрядной редкостью. Еще один угодник:
за радужным стеклом иконка-голограмма,
такая же, как медный прототип,
ее я отдавал владыке
Виталию, проверить, не кощунство ли.
Старик повеселился, освятил
иконку и сказал, что все в порядке.

Вот деревянный джентльмен. Друг мой Петя
его мне подарил тринадцать лет назад.
Сия народная скульптура —
фигурка ростом сантиметров в тридцать.
Печальный Пушкин на скамейке,
в цилиндре, с деревянной тростью,
носки сапог, к несчастью, отломались,
есть трещины, но это не беда.

Отцовские часы «Победа» на браслете
из алюминия — я их боюсь
носить, чтобы, не дай Бог, не потерять.
Бюст Ленина: увесистый чугун,
сердитые глаза монгольского оттенка.
Однажды на вокзале в Ленинграде,
у сувенирной лавочки, лет шесть
тому назад, мне удалось подслушать
как некто, созерцая эти многочисленные бюсты,
твердил приятелю, что скоро
их будет не достать.
Я только хмыкнул, помню, не поверив.

Недавно я прочел у Топорова,
что главное предназначение вещей —
веществовать, читай, существовать

не только для утилитарной пользы,
но быть в таком же отношенье к человеку,
как люди — к Богу. Развивая мысль
Хайдеггера, он пишет дальше,
что как Господь, хозяин бытия,
своих овец порою окликает,
так человек — философ, бедный смертник,
хозяин мира — окликает вещи.
Веществуйте, сокровища мои,
мне рано уходить еще от вас
в тот мир, где правят сущности и тени
вещей сменяют вещи. Да и вы,
оставшись без меня, должно быть, превратитесь
в пустые оболочки. Будем
как Плюшкин, как несчастное творенье
больного гения — он вас любил
и перечень вещей, погибших для иного,
так бережно носил в заплатанной душе.

КАМНИ

По склону скользкому вотще
ползешь в расплавленном плаще,
подземными ли облаками
ты пролетаешь, брат Сизиф,
в озерах ртутных отразив
сей ад, сей неподъемный камень?
А на лице земли — зима,
отдохновенье для ума,
уже белеет мерой щедрой.
Окован медью бычий рог,
в кастрюльке закипает грог
с гвоздикой и лимонной цедрой.
И я брожу навеселе
по остывающей земле,
по граду света, что засеян
бесплодным женственным снежком,
отогреваясь молоком
и геологическим музеем,
где блеск витрин, слова «отринь»,
«смирись», и плотная латынь
имен, прославленных Плутонем,
и камни, хладный концентрат
полутонов, концов, утрат,
рожденный жаром потаенным.
Ты, что еще не отдышал,
смотри, здесь всякий куб и шар
алмазным диском перепилен,
здесь с корнем вырванный агат
плодами плоскими богат
полос, расщелин и извилин,
гляди, любитель-землевед,
на узкогрудый самоцвет,
грозящий синим и пунцовым,
на малахит — среди зимы
узор травы, листа и тьмы,
что только Богу адресован.
Спит гематит, молчит рубин.

И мнится мне — среди глубин
судьба сатрапа и холопа
сгустилась тяжестью литой,
как самородок золотой
в руках слепого рудокопа.

29 ЯНВАРЯ 1996

Лечь за полночь, ворочаться в постели,
гадательную книгу отворя,
и на словах «как мы осиротели»
проснуться на исходе января,
где волны молодые торопливы
и враг врагу не подает руки, —
в краю, где перезрелые оливы,
как нефть, черны, как истина, горьки.

Вой, муза, — мир расщеплен и раздвоен,
где стол был яств — не стоит свечи жечь,
что свет, что тьма — ослабившийся воин
танталовый затачивает меч,
взгляд в сторону, соперники, молчите —
льстить не резон, ни роз ему, ни лент.
Как постарел ты, сумрачный учитель
словесности, пожизненный регент

послевоенной — каменной и ветхой —
империи, в отеческих гробах
знай ищущей двугривенный заветный —
до трех рублей на водку и табак,
как резок свет созвездий зимних, вещей,
не ведающих страха и стыда,
когда работу начинает резчик
по воздуху замерзшему, когда

отбредив будущим и прошлым раем,
освобождает мы земной объем,
и простыню льняную осязаем
и незаметно жить перестаем.

.....
.....
.....
.....

Весь путь еще уложится в единый
миг — сказанное сбудется, но не

жди воздаянья. Неисповедимы
пути его — и ангел, в полусне
парящий будто снег над перстью дольней
(и он устал), не улыбнется нам,
лишь проведет младенческой ладонью
по опустелым утренним устам.

ПЕСНЯ ДЛЯ ТАТЬЯНЫ ПОЛЕТАЕВОЙ

Под перебор красотки семиструнной
мне мнится: все сбылось, и нам с тобой
досталось все, обещанное умной
и справедливой матушкой-судьбой,
и жаловаться, право же, не надо,
апостолы расходятся домой.
Ну что сказать? Какая им награда
какая им награда, ангел мой?

Где правит балом гордость или пошлость,
давай припомним главные слова.
Ты говоришь, что всех переживешь нас,
ну что ж, держись, лихая голова,
давай держись, цыганка молодая,
кидая карты легкие вразлет,
с сырой земли назавтра их, рыдая,
осенний вихрь, должно быть, подберет.

Так перельем сегодняшнее — в завтра
и долгой водки выпьем ввечеру.
Ты говоришь, мы были аргонавты?
Я соглашусь и слезы оботру.
А затоскуешь — вспомнится другое,
прошедшее, страшнее и родней, —
*мой путь уныл, сулит мне труд и горе —
но как вино печаль минувших дней...*

3 ФЕВРАЛЯ 1996

Даже если смотришь в оба —
не узнаешь наперед,
что тебя за дверью гроба
отвратительного ждет.
Ах, как многим любомудрам
этот уголь сердце жег!
Но с похмелья, зимним утром
ясно чувствуешь, дружок:
есть в числе различных наций
убежденные вполне
в снах, которые приснятся
в неизбежном вечном сне.
Погляди на воды Ганга!
Ганг — священная река,
не выдавшая подарка
от донского казака.
Выделяя клочья дыма,
погребальный жаркий плот
вдоль по ней неотвратимо
к устью мутному плывет.
Не печалься, не надеясь
(чем грешил когда-то я),
на плоту лежит индеец,
превращаясь в уголья, —
догорит земное тело
вдалеке от отчих мест,
если что не догорело —
рыба толстая доест.
Но душа его как птица
или полная луна,
непрерывно воплотится
в тигра, зебру и слона.
(Ну так что же ты, цыганка, —
помолчи, поговори,
посмотри на воды Ганга,
непрерывно посмотри...)

21 ФЕВРАЛЯ 1996

Как бы во сне — в том самом, лет в тринадцать,
где на закате бил зеленый луч,
где ничего не стоило подняться
и распластаться возле самых туч,
и в страхе плыть над мелкой, дробной картой, —
что видел ты, о чем ты говорил
под утро, где когда-то Леонардо
испытывал заветный винтокрыл?

Вот некто связанный, молчащий перед
синедрионом, с кровью на крылах.
Вот Брейгель — пусть никто ему не верит —
холст обветшал, окислившийся лак
потрескался, — но в клочьях амальгамы
то друга различаем, то врага мы,
пока густеет потный, топкий страх
в толпе, что пятится с распятыми в руках.

Кто воздух перевозит на позорных
телегах, кто глядит издалека
на родину полей и щук озерных,
то заикаясь, то лишаясь языка, —
а наверху, от гор и мимо пашен
плывет орел — и ветер ему не страшен —
на черный пень, и мы с тобой за ним
легко и недоверчиво летим.

Мазок к мазку, на выдохе, в размахе
старинной кисти — видишь, вдалеке
вчерашний царь бредет к дубовой плахе —
в рогожном платье, в желтом колпаке, —
пронусь, припомню эту мешковину
и бубенец — и штору отодвину:
кирпич, мороз, люминесцентный час
да ясный Марс сощурил цепкий глаз...



Сочиняли империю, книгу ли,
афоризмы весомые впрок —
что синицы, свистели да прыгали,
не усвоив старинный урок.
Эта пьеска поэту не нравится,
и трясет он дурной головой, —
ах, игрушки — то братство, то равенство,
то земля, то продукт валовой,
аргументы и факты, известия,
злоба дня и тщета этих дней...
Жизнь, подруженька, хитрая бестия,
вроде творчества, только сложней.
Будто врач в ожидании вызова,
пей, послания Павла листай,
с Изаурою у телевизора
бесполезные дни коротай —
лишь бы ужасом зряшным не мучиться,
нехорошие сны вороша, —
все равно ничему не научится
не узнавшая правды душа.



Век двадцать первый. Человечья особь
скользит в него, что каменная осыпь
в горах Кавказа. Пушкинский орел,
столь царственно паривший над поселком,
подшиблен неразборчивым осколком.
Поселок взят. И спирт уговорен.

Сказать по чести — страшен мир и грязен
и в мерзости своей однообразен —
то подлость, то подлог, то кровь, то ложь.
Давно Шекспир почил на жестких лаврах,
оплыли свечи в барских канделябрах,
и века золотого не вернешь.

Но был ли мальчик? Не было, пожалуй.
Век всякий тесен, словно обруч ржавый
у Бога одинокого на лбу.
Душе, моей подруге непослушной,
так скушно здесь. Лишь океан воздушный
утеха ей. И все же — не могу

во имя древней верности и веры
впустить ее в синеющие сферы,
где в пухлых тучах глохнет свет и звук.
В окне без стекол и без занавески —
такой простор — поплакать только не с кем,
да птица Рух торопится на юг.



Жил да был один художник,
хромоногий он ходил,
в разных странах безнадежных
и безденежных — один
рисовал углем и мелом,
перед музой в долгу,
видя черным мир и белым,
словно ветки на снегу.
Слышал то укоры друга,
то злорадное «ага»,
то бесхитростную ругань
многоумного врага.
Но упрямо применял он
только уголь, только мел,
словно синим или алым
мыслить сроду не умел.
Белый свет над черной рощей.
Межпланетный серый газ.
Серафим ли, что попроще,
дух художника потряс?
Да! Когда-то в Петергофе,
где фонтан поет хорал.
выпил он две чашки кофе,
слабым сердцем захворал.
И двухцветную палитру
в совершенстве он постиг,
положив таблетку нитро-
глицерина под язык.
Вдруг расширились сосуды
и расширился зрачок,
и спустилось с неба чудо,
света черного пучок.

.

«В чем же соль того завета,
чем он взор тебе прожег?»
Так художника об этом
всякий спрашивал дружок.

«Мы бессмертья не имеем, —
отвечал он, — и сосуд
вместе с пролитым елеем
в кучу мусора несут.
Вот сейчас пирую с вами,
но в иных пространствах я...»
И мотали головами
огорченные друзья.
А хмелеющий мужчина,
позабыв коньяк и ром,
пел им песню, как лучина
догорает над ведром.



Когда приходит юности каюк,
мне от фортуны лишнего не надо, —
март на исходе. Хочется на юг.
Секундомер стрекочет, как цикада.
Мы так выросли поздно и засим
до тридцати болтали, после — ныли,
а в зрелости — не просим, не грустим,
ворочаясь в прижизненной могиле.
Но март проходит. Молоток и дрель
из шкафа достает домовладелец,
терзает Пан дырявую свирель,
дышу и я, вздыхая и надеясь.
То Тютчева читаю наизусть.
То вижу, как измазан кровью идол
на площади мощеной — ну и пусть.
Свинья меня не съела, Бог не выдал.
Еще огарок теплится в руках,
и улица, последняя попытка,
бела, черна и невозвратна, как
дореволюционная открытка...



Льет в Риме дождь, как бы твердящий: «Верь,
ни в яме не исчезнешь ты, ни в шуме
родных осин» — но умирает зверь,
звезда, волна. И даже Бродский умер.

То жнец, то швец, то в дудочку игрец,
губа в крови, защитный плащ засален, —
уже другой, еще живой певец
растерянно молчит среди развалин.

Не хочет ни смеяться он, ни выть.
Латынью пахнет в каменном тумане.
Ну что еще осталось? Все забыть
и все назвать своими именами?

Но в этот час безлюден Колизей,
лишь на стене чернеет в лунном свете
посланье от неведомых друзей —
«Мы были здесь: Сережа, Алик, Петя».



От райской музыки и адской простоты,
от гари заводской, от жизни идиотской
к концу апреля вдруг переживаешь ты
припадок нежности и гордости сиротской —
Бог знает чем гордясь, Бог знает что любя —
дурное, да свое. Для воронья, для вора,
для равноденствия, поймавшего тебя
и одолевшего, для говора и взора —
дворами бродит тень, оставившая крест,
кричит во сне пастух, ворочается конюх,
и мать-и-мачеха, отрада здешних мест,
еще теплеет в холодеющих ладонях.
Ты слышишь: говори. Не спрашивай, о чем.
Виолончельным скручена ключом,
так речь напряжена, надсажена, изъята
из теплого гнезда, из следствий и тревог,
что ей уже не рай, а кровный бег, рывок
потребен, не заплата и расплата —
так калачом булыжным пахнет печь
остывшая, и за оградой сада
ночь, словно пестрый пес, оставленный стеречь
деревьев сумрачных стреноженное стадо...



Какой там нетленной, когда до конца одну бы
дотянуть, когда в черных и неученых полях — весна,
и музыка всходит из-под земли, словно зубы
дракона, по ошибке посеянные во времена

допотопные и простые, подобные льну и шерсти,
долгому полотну океана, парусу на волне,
и шестое чувство — прохладное чувство смерти —
только наклеивалось. В ледяном вине

оседали светлые крошки винного камня,
и старик, прищурившись (он еще не был слеп),
раскладывал на холстине, под бережными облаками
сыр, оливки, солоноватый ветер, вчерашний хлеб.



То ли храм, то ли дворик заброшенный, то ли
время летних каникул в оставленной школе,
ночь, замки, коридоры, смотри не споткнись —
и нырнешь с чердака в безответную высь,
где по залам негостеприимной вселенной
бродит Гея в обнимку с безумной Селеной,
и любятся пляской галактик они
на правах небогатой родни...
Бормоча, бродит Гея по вечному кругу,
за собою ведет приживалку-подругу,
помолчи, говорит, ни о чем не жалея...
И несет холодком из небесных щелей.



Так, спесь твоя сильна, и сны твои страшны,
пока стоит в ушах — невольный ли, влюбленный —
шум, сочетающий тщеславный плеск волны
и гул молитвы отдаленной.

И посох твой расцвел, и слезный взгляд просох:
на что же плакаться, когда в беде-злосчастье
нам жалуется июль глубокий, сладкий вздох
и тополиный пух опухших глаз не застит?

Пусть время светится асфальтовым ручьем,
пусть горло, сдавленно волнением начальным,
переполняется тягучим бытием,
текучим, зябнущим, прощальным, —

пусть с неба низкого струится звездный смех —
как голосит душа, как жаль ее, дуреху! —
не утешение, но музыка для тех,
кто обогнал свою эпоху.



Сходить на кухню, хлопнуть стопку спирта,
запить сидро и нехотя вернуться
к компьютеру. Сколь символично, братья
и сестры, что значочки на экране
в отличие от пушкинских, допустим,
гораздо меньше связаны с материальным
и пошлым миром — и по сути
намного ближе к электрическим полям
и импульсам, из коих, как известно,
и состоит душа. Как бывший химик, впрочем,
я знаю: тут не только импульсы, но сотни
замысловатых и химических веществ,
которые, за недостатком места,
перечислять не буду. Лучше вспомню
про свой последний день рожденья,
случившийся недавно на краю
распавшейся (а мнилось — будет вечной)
империи, в туристском ресторане
с коллегами не столько по перу,
сколь по житейским обстоятельствам. Коньяк
рекою лился. И товарищи мои
провозглашали сдержанные тосты —
сколь, дескать, знаменательно, что данный
специалист по зарабатыванью денег
еще вдобавок и служитель муз!
Я был польщен, хотя коньяк, признаться,
был отвратителен, а звуковое
сопровождение еще
противней — не люблю слезливых завываний,
ни молодецких плясок
с кавказскими кинжалами в руках,
ни танцев живота, ни прочих
увеселений постсоветского Востока.
Я был польщен и в то же время грустен —
и сквозь стенания дутара, или как там,
мне чудился дурацкий старый шлягер
про сожаленье, день рожденья и

вагоны эскимо. Прочти стихок,
меня просили, но в ответ высокомерно
я головой качал, изображая гордость
служителя искусств, — а на поверку
я ничего не помнил, кроме неба
над глиняной террасой ресторана,
и пения цикад, и, может быть,
прибоя где-нибудь в Геленджике
или Ньюфаундленде — зимних волн,
несущих льдинки мутные, зеленых,
молочных волн. В гостинице, один,
я выпил «алька-зельтцера», пришел
в себя, сел за компьютер, и до трех
часов раскладывал пасьянс, и думал,
пора остепениться, перейти
на прозу или мемуары. Но увы —
все чудится, вот-вот очнусь и снова
заговорю спокойно и легко —
хотя отменно знаю — где оно,
спокойствие? Где легкость? Их не будет
и не было...



Оглядеться и взвыть — невеликая тонкость,
замолчать — не особый позор.
Остается пронзительный дождь, дальнорукость,
лень, безветрие, рифменный вздор —

для других, вероятно, бывает награда,
для аэдов, мучительный труд
изучивших, которые музыку ада
на латунные струны кладут,

для других, беззаботно несущих на плаху
захудалую голову, будто капустный кочан,
тех, которым с утра улыбается Бахус
и русалки поют по ночам, —

но такому, кто суетен, и суеверен,
и взыскующим Богом забыт,
кто с рожденья ломился в открытые двери
веры, смерти и прочих обид, —

не видать запоздалой истомы любовной,
не терзаться под старость, впотьмах,
неутешною страстью, горящею, словно
светлячки на вермонтских холмах.



Лазутчик вечности, по вечерам на связь
с хозяйкою далекой выходящий!
Трещит эфир, музыки ни на грош
не отыскать — не стоит и стараться.
Сей страшный космос — тысячи нулей
и горсточка материи, бегущей
от центра на окраину, смещаясь
к багровому и алому цветам!

Не проколоть былого небосклона
иглой известняковой колокольни,
сколь тщетны даже дерево и камень,
не говоря о славе и добре!
Треск в небесах — но здесь, в земном эфире,
бушуют волны музыки безумной,
и слушатель в наушниках блестящих
невольнo пританцовывает в такт.

Как ласточка родимое гнездо
то крыльями, то клювом защищает
от ястреба, сей осветитель мира
убежище бесхитростное строит —
то, домиком над ним сложив ладони,
пытается закрыть его от бури,
то подпевает обветшалой скрипке,
птенцовый рот разинув до ушей.

Давно купил он новую кастрюлю,
автомобиль, тулуп и холодильник
и в золотой широкополой шляпе
американской улицей идет,
он дамочек разглядывает юных
издалека, и слишком много курит,
и, пропустив седьмую стопку водки,
наушники снимает с головы —

не потому, что песня надоела,
но поздний час, расходятся из бара

клиенты, озабоченный буфетчик
поглядывает на часы. Ты любишь
ночь? Я люблю — особенно когда
сентябрь, просторный город сух и весел
и, может быть, кому-то удастся
подслушать песню падающих птиц.



Стоокая ночь. Электричества нет.
Зверь черный — мохнат, многоног —
твердит, что свобода — погашенный свет,
а время — гончарный станок.
В ответ я смотрю в нехорошую тьму
и, кажется, не возражаю ему.
Язык его влажен и красен,
блистающей сажей окрашена шерсть,
два уха, а лап то ли семь, то ли шесть,
и лик лупоглазый ужасен.

Хвостатая ночь. Электрический пыл.
Зверь белый по имени Быть
твердит, что вовек никого не любил,
и мне запрещает любить.
Зверь белый, светящееся существо,
широкие крылья длинны у него,
и очи горят фонарями.
Не шли мне их, Господи, — сажа ли, мел,
я отроду умных бесед не умел
вести с молодыми зверями.

Затем мне и страшен их древний оскал,
что сам я, зверь темных кровей,
всю жизнь, словно чашу Грааля, искал
неведомой воли твоей.
Неужто ус, коготь, и клык, и резец —
гармонии горькой ночной образец,
поведай мне, отче и сыне!
Наследники праха, которым немил
агатовый космос и глиняный мир,
о чем вы рыдаете ныне?



Бледнеет марс, молчит гомер, лишь слышится окрест:
я не флейтист небесных сфер, я ворон здешних мест,

ладья в пучине давних вод, лепечущих о том,
что все, как водится, пройдет рекою под мостом.

А где иные голоса? Кто ныне учит нрав
ступенчатого колеса в обрывках скользких трав,

сих выщербленных жерновов, заржавленной оси?
Крутись, скрипи, бывай здоров, пощады не проси —

мели о свете за рекой, емея, друг-простак,
посыпав пыльною мукой свой шутовской колпак...



На окраине тысячелетия,
в век дешевки, все тот же завет —
что участвовать в кордебалете и
клоунаде на старости лет!

Оттого ни купцом мне, ни пайщиком
не бывать, — улыбаясь сквозь сон,
коротать свои дни шифровальщиком,
долгим плакальщиком и скупцом.

И с нетрезвою музой, затурканной
побирушкой, Боже ты мой,
сошлифовывать влажною шкуркою
заусеницы речи родной...



...я там был; перед сном, погружаясь в сладкий
белоглазый сумрак, чувствовал руку чью-то
на своей руке, и душа моя без оглядки
уносилась ввысь, на минуту, на две минуты, —
я там был — но в отличие от Мохаммада
или Данта — ягод другого поля —
не запомнил ни парадиза, ни даже ада,
только рваный свет и нелегкое чувство воли.
А потом шестикрылая испарялась сила,
умирала речь, запутавшись в гласных кратких,
и мерещились вещи вроде холста и мыла,
вроде ржи и льна, перегноя, дубовой кадки
с дождевой водой. Пахнет розой, грозью. Чудо.
Помнишь, как отдаленный гром, надрываясь, глохнет,
словно силится выжить? Сказал бы тебе, откуда
мы идем и куда, — но боюсь, что язык отсохнет.



Сколь ясно вьюга шепчет нам: вот Бог, а вот порог.
И временам, и племенам приходит крайний срок.
Приехали. Кончай базар. Не сокрушайся, друг!
Довольно ты слова вязал не покладая рук,
листал сухие книги и с подружкой допоздна
гонял цветочные чай у зимнего окна.

Тряхнешь коробкой жестяной — а в ней сто лет уже
нет ни монетки золотой, ни мятного драже.
Замах, удар, звонок, расчет, непаханая тишь,
взамен кузнечика — сверчок, и вместо белки — мышь.
А где же грозный серафим, осколок и оскал
иной плеяды? Вьется дым, мутнеет твой стакан,

и не со дна, а с потолка прозрачный светит лик.
Беда его невелика, и сам он невелик.
Он был пророк и был изгой, и лепетал «прости»,
а ныне дружит с мелюзгой в хитине и в шерсти.
Коленки, губы, голубой огонь далеких лет
потушен грубою судьбой до греческих календ.

Твоих ушей коснется он — и их наполнит звон
и шум еще живых времен, еще живых племен,
приноровится грудь рассечь — но оплыла свеча,
давно перегорела речь, и не поднять меча.
Пьет тьму дымящий парафин, как бы цикуту пьет
мудрец. И старый серафим о родине поет.



Что вздохнул, заглядевшись в белесую высь?
Лучше хлебушка, друг, накроши
голубям, поброди по Москве, помолись
о спасении грешной души —

по брусчатке трамвайного космоса, без
проводятого, чтобы к стихам
приманить горький голос с открытых небес —
как давно ты его не слышал!

Помолчи, на бульваре продутом постой,
чтоб гортань испытать на испуг,
одержимый усталостью и немотой,
как любой из прохожих вокруг, —

лишь в молитву свою ни обиду, ни лесть
не пускай — уверял же Орфей, /
что прочнее любви средостение есть
между нами и миром теней, —

уверял и бежал от загробных трудов
по замерзшим кругам Патриарших прудов:
заживающий вывих, саднящий ожог —
и летел от коньков ледяной порошок...



Стояло утро — день седьмой. Дремали юноша и дева,
и не казались им тюрмой сады просторного Эдема.

Воздушный океан кипел — а между Тигром и Евфратом
цвел папоротник, зяблик пел, и был бутоном каждый атом,

и в темных водах бытия была волна — гласят скрижали, —
гепард, ягненок и змея на берегу одном лежали.

Времен распавшаяся связь! Закрывать глаза в неясной рани,
и снова, маясь и дwoясь, как бы на стереоэкрane —

летит фазан, бежит олень, коровы рыжие пасутся,
и вдохновенье — только тень бессмертия и безрассудства...

Играй же, марево зари, и в темных ветках плод кровавый
гори — так было, — не хитри, не мудрствуй, ангел мой
лукавый,

стоящий соляным столпом спиною к солнцу молодому,
где огонь струится из руин благословенного Содома.



Так много, много раз я начинал
писать тебе. Абзац, другой, и что же?
Какой-то дьявол в ухо мне твердил,
что сухо или слишком откровенно,
что почта ненадежна, что тебя,
должно быть, нету в городе. И я
бросал письмо, надеясь перейти
к стишкам, к роману ли, но на поверку —
к поденщине постылой обращался,
а то и просто — к горькому безделью.

Не вспомнить сразу, сколько зим и лет
мы не встречались, даже разговоров
по телефону не было. Казалось,
что месяца я без тебя прожить —
хотя бы в виде призрака — не смог бы.

И, вероятно, где-то в даниил-
андреевском надмирном мире наши
подобия бредут рука в руке
тропинкою в горах, и замирают,
увидев море, и смеются
над собственными страхами.

Весну

почувствовав, мяукает на кухне
мой глупый кот. Покрыты пылью книги,
сухие розы тоже пахнут тленом,
а за окном гроза, и — не поверишь —
чуть слышный женский голос Бог весть где
стихи читает — кажется, Шекспира,
слов за дождем не разобрать. Подобно крови
из вскрытых вен, уходит жизнь, и как
остановить ее течение — не знаю,
лишь вслушиваюсь в ночь, где женский голос
уже угас и только плеск листвы
да редкий гром над пригородом дальним...



Перепевы нищей крови, рта несытого расчет —
кроме смерти и любви, что нас к Господу влечет?
Бремя страсти по нечетным, а по четным дням — распад,
по заслугам и почет нам, и других, увы, наград
не бывает, оттого что остывает в кружке чай,
слишком медленная почта, слишком долгая печаль...
и дорогой скучной, зимней донимают поделом
переливы крови дымной, снежный всполох за углом...



Покуда мы с временем спорим,
усердствуя в честном труде,
земля обрывается морем,
а небо — неведомо где.
Пылают светила, не плаваясь,
межзвездный сгущается прах,
и все это — первая завязь
в неистовых райских садах.

Уже о вселенных соседних
мне видятся ранние сны,
где сумрачный друг-проповедник
молчит, и не разделены
свет с тьмой, водородные хляби
взрываются сами собой,
и хлеб преломляется въяве,
и весело твари любой, —

но все-таки просим: яви нам
знамение, царь и отец,
и слышим: не хлебом единым,
но словом для нищих сердец, —
и снова в смятенье великом
глядим на пылающий куст,
смущенные горестным криком
из тех окровавленных уст...

Ах, мытари и рыболовы,
и ты, дурачок-звездочет,
как страшно прощальное слово
с вечернего неба течет!
Как жаль этой участи тленной,
где мед превращается в яд,
и сестры мои на военной
стоянке кострами горят...



Для камня, ржавчины и дерева — не для
печали медленной, не для бугристых складок
под костью черепной — возвращается земля,
не для меня ее ветшающий порядок.

Беспечно странствовать, не верить ничему,
просить, чтоб боль на время отпустила,
чтобы на выручку заблудшему уму
пришли текучие небесные светила, —

и грянет пение, и сердце застучит, —
мерцает, царствуя, пустыня ледяная,
где вырывается из хора Данаид
неутомимый голос Адоная.

Нелеп стареющий служитель пожилых,
облезлых муз, с его высоким слогом,
смешон лысеющий, одутловатый стих,
едва влачащийся по облачным дорогам,

но выступает месяц в пустоте,
и душу радует, и смотрит не мигая —
не обвиняемым, свидетелем в суде, —
а все томительно и трудно, дорога...



Аукнешься — и возвратится звук с небесных круч,
где в облаках янтарных
свет заключен, как звездчатый паук. Червонный вечер.
В маленьких пекарнях
лопатой вынимают из печи насущный хлеб,
и слышен голос вышний:
— Ты оскорблен? Смирись и промолчи,
не искушая мирозданья лишней
слезой, — ты знаешь, высохнет слеза,
умолкнет океан, костер остынет
и обглодает дикая коза куст Моисея в утренней пустыне.

Бреду и с демоном стоглавым говорю от рынка рыбного,
где смерть сама могла бы
глядеть в глаза мерлану и угрю, и голубому каменному
крабу, —
и сходится стальной, стеклянный лес к соборной площади,
и нищие брезгливо
считают выручку, и скуден бледный блеск витрин и запах
слизи от залива —
так город пуст, что страшно. Замер лист опавший,
даже голубь-птица
летит вполсилы, смиренно смотрит вниз и собственного имени
стыдится.

И все-таки дела мои табак. Когда б я был художником
беспалым
и кисть сжимал в прокуренных зубах — изобразил бы ночь,
с тупым оскалом
бомжей продрогших, запашком травы и вермута
из ледяного чрева.
Я крикнул бы ему: иду на вы! Губя себя, как яблочная Ева,
в стальном, стеклянном, каменном раю, — которым правит
вещий или суций, —
у молчаливой бездны на краю уединясь с гадюкою поющей.



Где пятна птичьего помета
на бронзе памятников, где
гранитов, мраморов без счета
и девы в сумрачном труде
томятся — кто у кассы, кто у
компьютера, а кто и у
больничных коек, очи долу
склонив, и только ввечеру
вдруг оживают, смотрят мудро,
беседу хитрую ведут
и тайно рисовую пудру
на щеки юные кладут —
там, щедро сдобренная талым
снежком, сырая спит земля,
там молодежь спешит в
Джорджтаун,
ушами тихо шевеля,
и голубые человеки,
вкусив волшебных папирос,
в громоподобной дискотеке
уже целуются врасос —
а мы с тобой сидим поодаль
и говорим, что поздний час,
твердим, что опиумная одурь
пусть хороша, да не про нас,
поскольку одурь есть иная,
иная блажь на склоне лет,
но как назвать ее — не знаю.
И ты смеешься мне в ответ.
Под облаком, под снежным дымом
я там любил и был любимым,
да-да, любил и был любим...
Ах, город, град мемориальный,
квадратный, грузный,
нереальный,
под небом жадно-голубым...



Разборку с судьбою затеяв,
бывает порой нездоров
и водопроводчик Сергеев,
и градостроитель Петров.
Не радует их ни селедка,
ни водка в стакане большом,
ни даже иная красotka,
танцующая голышом.
Да! даже ученый Иванов,
хотя и веселый на вид,
боится, что жизнь из обманов,
обманов сплошных состоит.
И правда! Красotka увянет,
спиртной опустеет стакан,
селедка с тарелки привстанет
и молча уйдет в океан,
забудутся оды на случай,
весь горестный праздник мирской
пройдет безымянною тучей
над мгlistой пучиной морской.

И все ж — не горюйте, ребята!
Любые тоскуют в ночи
бухгалтеры и депутаты,
станочники и скрипачи,
любые бывают отчасти
поэтами странных страстей,
сучая и плача во власти
противной планиды своей.
О ты, что смешон и недужен!
Отнюдь не аптечный лоток
в такой ситуации нужен,
а чистого неба глоток.
Порой в меланхолии шахту
залезешь почти с головой, —

но сядешь на белую яхту —
опять молодой и живой.
Мир кажется снова прекрасен,
надев голубые штаны,
и разум беспечен и ясен
под плеск океанской волны.



В день праздника, в провинции, светло и ветрено. Оконное стекло почти невидимо, мороженщица Клава колдует над своей тележкой на углу Коммунистической и Ленина. Газеты в руках помолодевших ветеранов алеют заголовками. С трибуны свисает, как в стихах у Мандельштама, руководитель местного масштаба, нисколько не похожий на дракона — и даже не в шинели, а в цивильном плаще, румынского, должно быть, производства, отечески махает демонстрантам широкою ладонью. Хорошо! А на столбах динамики поют. То «Широка страна моя», то «Взвейтесь кострами, ночи синие». Закрыт универмаг, и книжный магазин закрыт, а накануне там давали стиральный порошок и Конан-Дойля без записи. Ну что, мой друг Кибиров, не стану я с тобою состязаться, мешая сантименты с честным гневом по адресу безбожного режима. Он кончился, а вместе с ним и праздник неправедный... но привкус белены в крови моей остался, вероятно, на веки вечные. Вот так Шильонский узник, позвякивая небольшим обрывком цепи на голени, помедлил, оглянулся и о тюрьме вздохнул, так Лотова жена, так мой отец перебирал медали свои и ордена, а я высокомерно смотрел, не понимая, что за толк в медяшках этих с профилем усатым...

Вот почему я древним афинянам
завидую, что времени не знали,
страшились ветра перемен, судили
по сизым внутренностям птиц небесных
о будущем и даже Персефону
могли умаслить жирной, дымной жертвой...



Вот гордый человек с довольною гримасой
пьет крепкое вино и ест овечье мясо,
он знает наизусть весь говор человеческий,
он женщиной своей владеет каждый вечер,
а женщина его, смеясь, готовит ужин,
и после трапезы владеет этим мужем.

Но искушение приходит к человеку,
чтоб превратить его в душевного калеку.
Вернувшись с похорон, он в стену смотрит молча,
с улыбкой волчьей исходит черной жёлчью,
что меланхолией прозвали древнегреки,
и нет веселья больше в этом человеке.

Превозмогая приступ слабости и лени,
уйдет на кухню он и рухнет на колени —
ладони сложены, смирение во взоре,
и жажда истины в серьезном разговоре
с тем, кто среди небес на троне восседает
и бытием людским бесстрастно управляет.

Не помня, что бесед с тем, кто сидит на троне,
вести нельзя, верней, они односторонни,
усталый этот раб во мраке русской ночи
одной проблемою в молитве озабочен:
«Скажи, что смерти нет, о милосердный Боже!»
Но слышится в ответ: «...и вечной жизни тоже...»



Задыхаясь в земле непроветренной,
одичал я, оглох и охрип,
проиграв свой огонь геометрии,
будто Эшер, рисующий рыб —
черно-злых, в перепончатом инее,
крепких карликов с костью во рту,
уходящих надтреснутой линией
в перекрученную высоту,
где в пространстве сквозит полустертое
измерение бездн и высот —
необъятное, или четвертое,
или жалкое — Бог разберет...

Стиснут хваткою узкого конуса
и угла без особых примет,
я учил космографию с голоса,
я забыл этот смертный предмет, —
но, исполненно алой, текучею,
между войлоком и синевой
тихо бьется от случая к случаю
средоточие ночи живой —
так оплыл низкий, глиняный дом его! —
и в бездомном просторе кривом
крылья мира — жука насекомого —
отливают чугунным огнем.

СОДЕРЖАНИЕ

«Расскажи, возмечтавший о славе...»	5
«Не понимаю, в чем моя вина...»	6
«Хорошо в перелетной печали...»	8
«Алкогольная светлая наледь, снег с дождем...»	9
«Когда пронзительный и пестрый...»	10
«Почернели — в гвоздях и огнях...»	11
«Вещи осени: тыква и брюква...»	12
«Прислушайся — немотствуют в могиле...»	13
«Среди длинных рек, среди пыльных книг...»	14
«Сколько нажито, сколько уступлено...»	15
Вещи	16
Камни	19
29 января 1996	21
Песня для Татьяны Полетаевой	23
3 февраля 1996	24
21 февраля 1996	25
«Сочиняли империю, книгу ли...»	26
«Век двадцать первый. Человечья особь...»	27
«Жил да был один художник...»	28
«Когда приходит юности каюк...»	30
«Льет в Риме дождь, как бы твердящий: «Верь...»	31
«От райской музыки и адской простоты...»	32
«Какой там нетленной, когда до конца одну бы...»	33
«То ли храм, то ли дворик заброшенный, то ли...»	34
«Так, спесь твоя сильна, и сны твои страшны...»	35
«Сходить на кухню, хлопнуть стопку спирта...»	36
«Оглядеться и взвыть — невеликая тонкость...»	38
«Лазутчик вечности, по вечерам на связь...»	39
«Стоокая ночь. Электричества нет...»	41
«Бледнеет марс, молчит гомер...»	42
«На окраине тысячелетия...»	43
«...я там был; перед сном, погружаясь в сладкий...»	44
«Сколь ясно вьюга шепчет нам: вот Бог, а вот порог...»	45
«Что вздохнул, заглядевшись в белесую высь...»	46
«Стояло утро — день седьмой...»	47
«Так много, много раз я начинал...»	48
«Перепевы нищей крови, рта несытого расчет...»	49
«Покуда мы с временем спорим...»	50
«Для камня, ржавчины и дерева — не для...»	51
«О знал бы я, оболтус юный, что классик прав...»	52
«Аукнешься — и возвратится звук с небесных круч...»	53
«Где пятна птичьего помета...»	55
«Разборку с судьбою затеяв...»	56
«В день праздника, в провинцию, светло...»	58
«Вот гордый человек с довольною гримасой...»	60
«Задыхаясь в земле непрветренной...»	61

В поэтической серии «Автограф», издаваемой «Пушкинским фондом», вышли следующие сборники:

1. Б. Ахмадулина. **Ларец и ключ**
2. В. Салимон. **Невеселое солнце**
3. И. Лиснянская. **После всего**
4. Ю. Кублановский. **Памяти Петрограда**
5. И. Бродский. **В окрестностях Атлантиды**
6. Н. Кононов. **Лепет**
- 7 А. Пурин. **Евразия и другие стихотворения**
8. Е. Шварц. **Песня птицы на дне морском**
9. С. Гандлевский. **Праздник**
10. В. Гандельсман. **Там на Неве дом...**
11. В. Дроздов. **Стихотворения**
12. Л. Лосев. **Новые сведения о Карле и Кларе**
13. А. Цветков. **Стихотворения**
14. Д. Новиков. **Караоке**
15. И. Жданов. **Фоторобот запретного мира**
16. Т. Кибиров. **Парафразис**
17. Е. Шварц. **Западно-восточный ветер**
18. Б. Ахмадулина. **Созерцание стеклянного шарика**
19. В. Салимон. **Красная Москва**
20. В. Зельченко. **Войско**
21. Б. Кенжеев. **Сочинитель звезд**

Все книги серии тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных сборников обращайтесь
в издательство по адресу:
191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».
Информация по телефону: (812) 273–37–24
факс: (812) 273–52–56

КЗЗ

Кенжеев Б.

Сочинитель звезд: Книга новых стихотворений. —
СПб.: Пушкинский фонд, 1997. — 64 с.

ISBN 5—85767—091—8

ББК 84. Р7

**Серия изготовлена при участии
Просветительско-издательского
центра ДЕАН+АДИА-М
СПб, ул. Пушкинская, 10
тел (812) 164 52 40, факс (812) 164 52 85
E-mail: igor@adia.spb.su,
andrei@dean.spb.su**

**Кенжеев Бахыт
Сочинитель звезд
«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 1997**

Редактор *Г. Ф. Комаров*
Корректор *М. Г. Комарова*

ЛР № 030 448 от 10 ноября 1992 года

Издательство «Пушкинский фонд»
191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

**Подписано в печать 16.04.97 г.
Формат 60x84 1/16. Печать офсетная.
Усл. п. л. 4. Бумага офсетная. Тираж 1000 экз. Зак.№ 135.**



**Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии "Полиграфический центр"
190000, г. Санкт-Петербург, Прачечный пер., д. 6
тел./факс 812 315 3310**